

A large, multi-masted sailing ship, possibly a three-masted vessel, is shown from a low angle, sailing on a dark, choppy sea. The ship's hull is dark, and the lower part of the bow is painted a vibrant green. The masts are tall and dark, with numerous rigging lines and pulleys visible. The sails are furled and appear to be a dark, weathered color. The sky is overcast with heavy, grey clouds. In the background, to the left, another smaller sailing ship is visible on the horizon.

Максим Орлов

ПОЛЫНЬ И ПУЧИНА

Максим Орлов

ПОЛЫНЬ И ПУЧИНА

«Автор»

2026

Орлов М. В.

ПОЛЫНЬ И ПУЧИНА / М. В. Орлов — «Автор», 2026

Говорят, океан не возвращает своих мертвецов. Это ложь. Четырнадцать месяцев назад капитан первого ранга Северьян Вран и девять матросов брига «Полынь» были повешены на Петровской пристани Кронштадта — по списку, подписанному девятью высокими чинами. Тела бросили в залив. Вода запомнила. Теперь на горизонте — чёрный выпел с перечёркнутым якорем. Мёртвый капитан возвращается не убивать — показывать. Каждому, кто подписал, он приносит одно и то же: вес собственной подписи. Месть Врана — не клинок, а свидетельство; он не забирает жизни, он забирает право забыть. Но чем дальше идёт «Полынь», тем яснее видит Вран: месть не кончает боль — она передаёт её из рук в руки. И чтобы разорвать цепь, придётся стать не судьёй, а несущим — и найти того, кто возьмёт половину. Роман о памяти, вине и воде, которая не умеет забывать. Для читателей тёмной исторической фэнтези-прозы, где сверхъестественное растёт из человеческой боли, а тишина страшнее залпа.

© Орлов М. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. БЕЗДНА ПОМНИТ КАЖДОГО	5
Глава 1. Саван	8
Глава 2. Пушки молчат	10
Глава 3. Капитан без пульса	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Максим Орлов

ПОЛЫНЬ И ПУЧИНА

ПРОЛОГ. БЕЗДНА ПОМНИТ КАЖДОГО

«Вода не лжёт. Она просто молчит — до тех пор, пока не заговорит».

Говорят, океан не возвращает своих мертвецов.

Ложь. Удобная ложь для тех, кому проще думать, что смерть — это конец, а дно — просто дно, тихое и тёмное, и на дне ничего.

Я знаю иначе.

Я — вода. Я — дно. Я — то, что помнит. Не по желанию — потому что не умею забывать. Память воды — не дар, а проклятие: она течёт, испаряется, замерзает на двести лет, но всё равно хранит каждую каплю крови, каждое тело за бортом, каждое имя, произнесённое над волной.

Помню его. Северьяна Врана.

Кронштадт. Петровская пристань. Декабрьские сумерки. Над пристанью нависали чугунные фонари с мутными стёклами — их свет не столько освещал, сколько подчёркивал черноту воды. Сваи, покрытые зелёной слизью, выступали из залива, как гнилые зубы. Ветер с залива режет лицо, пахнет солью и ржавым железом — тем особым холодом, который входит не в кожу, а под кожу, в мышцы, в кости, в то место, где живёт имя.

Верёвка пахла смолой, новой, свежей — той, что выют на канатных дворах из пеньки и терпения. Верёвка пахла чужими руками, которым было всё равно, для кого они выют. Верёвка — она всегда для чьей-то шеи, и тот, кто вьёт, думает об узле, о длине, о том, чтобы хватило.

На эшафоте доски были свежими — сосновые, ещё пахнущие стружкой, но их уже покрыл иней, и каждый шаг Врана оставлял на них тёмный след талой воды. Чёрный плащ палача, тяжёлый, просмолённый, висел на нём бесформенным мешком; из-под капюшона торчал только подбородок, покрытый седой щетиной. Ветер доносил из города запах пекарного угля и квашеной капусты — обыденный, мирный, чудовищный на фоне верёвки, которая ждала своей работы.

На шее Врана верёвка сидела туго. Узел — под левым ухом, как по уставу. Палач знал своё дело; палач — тоже мастерство.

Вран стоял на эшафоте. Не дрожал, не плакал, не просил. Смотрел в воду. Внизу Финский залив дышал медленными тёмными вздохами, волна лизала сваи — тихо, мерно, равнодушно. Воде было всё равно, кого сейчас повесят. До того момента, пока не запомнит.

Губы Врана шевельнулись. Не молитва, не прощание — клятва. Тихая, для себя, для воды, для меня:

«За Тимофея, за Демидова, за Артёма и за шестерых остальных, что упали раньше. Которых я не уберёг. Которых не успел».

Девять имён — девять гвоздей, вошедших в воду, в ночь, в моё чёрное дно. Я чувствовала, как они входят не в тело — в память, в тот слой ила, где лежат кости, цепи, якоря, никому больше не нужные.

Верёвка натянулась. Тело дёрнулось — раз, два — и тишина. Но не сразу: сначала хрип, влажный, короткий — звук горла, когда воздух кончается. Потом тишина — абсолютная, полная, окончательная.

Тело висело три дня. Я видела его снизу, со дна — тень на воде, которая качалась и не уходила. Ветер, снег, чайки садились на плечи мёртвого и клевали; мёртвый не отгонял — мёртвый не мог.

На четвёртый день тело сняли и бросили в воду. В меня, в мою темноту, в мой ил.

Я поймала его на дне, на костях всех, кто был до него, на ржавых цепях, на обломках мачт — положила мягко, как кладут то, что ещё может пригодиться.

И слышала.

Мёртвый говорил. Губы не двигались, воздуха не было, но слова входили в воду, в ил, в дно:

«Пучина, я услышал. Я приду и верну. Не убью — передам. Каждому, кто нёс, кто подписывал, кто смотрел и молчал. Верну с процентами, с памятью, с весом».

Тогда я сделала то, чего не делала тридцать лет Морского Запрета — тридцать лет стоячей, запертой воды.

Я отпустила его.

Не из жалости, не из мести — из интереса, из древнего нечеловеческого любопытства воды, когда она видит что-то новое, что может разорвать, остановить, изменить.

Может ли человек разорвать то, что передаётся от сердца к сердцу, от подписи к петле, от петли ко дну?

Я не знаю.

Четырнадцать месяцев он лежал на дне. Ил смывался с лица, верёвка гнила, волокно за волокном — медленно, терпеливо.

На пятый месяц сердце дёрнулось — не забилося, а дёрнулось, как рыба на крючке.

На десятый — глаза открылись под водой, в темноте, в иле, и посмотрели не вверх, а вглубь, в меня, в то, что помнит.

На четырнадцатый — он встал.

Ил осыпался с плеч, верёвка осталась на дне, гниёт, помнит. А он идёт по дну, по костям, по цепям, по мне, не тонет, не дышит, не живёт — но идёт. Кожа его синяя, как вода, как ночь, как то, что впиталось навсегда. Вода стала им, или он стал водой — не важно. Важно одно: он идёт.

Слушайте ветер. Он несёт не только шторм — он несёт запах грядущего пепла, сургуча и крови, запах горящего города, запах того, что будет.

Мсть — не клинок. Мсть — рана, которую передают из рук в руки: от отца к сыну, от палача к мстителю, по кругу, по спирали. Когда цепь разорвётся, все останутся ранеными, никто не будет спасён, никто не будет цел — только живы, если повезёт, если кто-то скажет: я вижу, я помню, я несу рядом.

Я жду. Со дна, в тишине, в иле, в памяти. Жду не начала, не конца — жду того, что будет, как вода ждёт: всегда, терпеливо, бесконечно, безразлично.

На дне, под костями и цепями, под тридцатью годами стоячей воды, лежит верёвка. Гнилая, тонкая, почти ничто. Но я помню её запах — смола, пенька, чужие руки.

Верёвка помнит шею. Шея помнит верёвку. Вода помнит всех.

ЧАСТЬ 1. «ЧЁРНЫЙ ТУМАН»

Эпиграф:

«Туман не скрывает правду — он делает её невыносимой».

Глава 1. Саван

Туман пришёл в три часа ночи — поднялся со дна гавани, как дыхание спящего зверя: медленно, густо, неотвратно. Не с моря, а из моря, из-под свай, из ила, из того места, где вода тридцать лет стояла и помнила.

Запах был старый — не свежая соль, а та, что осела на камнях и въелась в дерево причалов. Ржавчина, тина, и ещё что-то долго запёртое, наконец вышедшее наружу.

На стенах форта Кронштадт загорелись фонари — красные, жёлтые, масляные; пламя дрожало за стеклом, бросало на гранит длинные рваные тени. Свет не пробивал туман — он исчезал в нём, тонул, как камень в воде, как крик в пустоте, как все надежды этого города за тридцать лет.

У часовых на стенах были новенькие шинели из серого сукна — на них ещё лежали складки от фабричной упаковки, и пуговицы блестели, как недавно начищенные. Но рукавицы у многих были старые, с потёртыми пальцами — из-под них торчала вата, которую не успели зашить. Мушкетеры — казённые, с потёртыми прикладами; на каждом была отметина: кто-то вырезал инициалы, кто-то — грубый крест. Один из артиллеристов, старый унтер Егорыч, носил на поясе старый тесак, у которого эфес был обмотан красной тряпкой, чтобы не скользила рука. Запах от него шёл не стали — машинного масла, смешанного с потом: зарядка пушек всегда была грязной работой.

Часовой на южной башне увидел парус последним. Туман отступил на секунду — открыл вид, показал чёрный низкий силуэт с перечёркнутым флагом — и сомкнулся снова. Часовой закричал, голос сорвался на втором слоге и утонул в тумане, который глотал звук, который был гуще воздуха, гуще дыма, гуще страха.

«Корабли! Корабли в гавани!»

Крик подхватили на западной стене, на северной, на восточном редуте. Колокол ударил — раз, два, три — глухо, коротко, как удар в крышку гроба, как последний отсчёт.

Из тумана вышли семь кораблей. Семь выпелов — чёрных, мокрых, тяжёлых от воды; паруса спущены, мачты голые, корпуса погружены наполовину, ватерлиния по пушечным портам. Корабли не плыли — они шли по воде, сквозь воду, в воде, как люди, которым всё равно — мокро или сухо, живой или мёртвый, есть дно или нет.

На мостике флагмана стоял человек — неподвижно, руки по швам, голова чуть наклонена вперёд, как мачта без парусов, как якорь без цепи. Кожа его была синей не от холода и не от ночи — от воды, жившей внутри, впитавшейся в каждую клетку, в каждую щель между костями. Сердце билось синей кровью, лёгкие дышали солью, глаза смотрели сквозь туман, сквозь темноту, сквозь всё, что стояло между ним и целью.

Северьян Вран, капитан первого ранга. Мёртв четырнадцать месяцев. Повешен на Петровской пристани, тело брошено в залив, но он не утонул — встал, ходит, не спит, не ест, не живёт. Идёт к одной цели, к первой.

Рядом у штурвала стоял Холт — старший штурман, один глаз, чёрная повязка на левой глазнице, лицо как кора старого дуба. Руки на штурвале крепко, привычно: тридцать лет на море, тридцать лет руки держат дерево, дерево держит руки. На пальце правой руки он носил старый отцовский перстень с якорем — сейчас он крутил его нервно, хотя внешне был спокоен. Холт не смотрел на туман, не смотрел на крепость — смотрел на свои руки, на жилы, на шрамы, на ту руку, что тридцать лет назад держала маленькую тёплую ладошку. Которая потом выросла, которая потом повисла на петле на глазах отца, стоявшего на стене и не могшего ничего.

Холт повернул штурвал на четверть — и корабли вошли в гавань медленно, как хищники, как то, что знает: добыча никуда не денется. Туман расступался перед ними — не сам, убегал от синей кожи, от мёртвого взгляда, от того, что вода помнила тридцать лет и наконец выдыхала.

Вран открыл рот — не крикнул, не скомандовал, а выдохнул синий пар, густой и холодный, пахший солью и илом, пахший дном. Одного выдоха хватило — Холт понял, штурвал повернулся, семь кораблей вошли в гавань форта. Никто не стрелял, никто не сопротивлялся — потому что все уже знали: это не война, это возвращение того, что забрали, что заперли, что тридцать лет стояло на дне и ждало.

На стене часовой уронил мушкет, оружие стукнуло о камень сухим коротким звуком, но часовой не поднял его — стоял, смотрел на туман, на корабли, на синюю фигуру на мостике, и не мог отвести глаз. Не потому что хотел — потому что не мог, как нельзя отвести глаз от воды, которая поднимается, которая входит, которая берёт.

Часовой кашлянул — раз, два, три. В груди булькнуло: не простуда, не дым — вода. Вода в лёгких, в горле, внутри. Воздух сухой, ночь ясная, ни дождя, ни влаги — а в груди вода, как если бы он уже утонул давно и только сейчас начал это чувствовать. Он сполз по стене, сел на камень, обхватил колени — и закашлялся снова; изо рта вышла солёная живая чужая вода, капнула на гранит, на камень, который помнил тридцать лет, помнил каждого, кто стоял, кто висел. Капля впиталась, камень потемнел.

Туман полз дальше — по стенам, по башням, по крышам казарм, по всему, медленно, неумолимо, как вода, которая всегда побеждает, потому что у воды есть время, у воды всегда есть время.

На мостике флагмана Вран закрыл глаза, открыл, закрыл, открыл — каждый раз видел одно и то же: крепость, стены, огни, цель. Рука поднялась выше головы, ладонь вперёд, пальцы растопырены — как у человека, который чувствует не глазами, а водой, камнем, людьми. Двести человек на стенах — двести сердец, двести лёгких, двести живых, которые сейчас перестанут быть живыми. Не все — лишь те, кто встанет на пути, кто поднимет оружие, кто выберет.

Вран опустил руку. Холт повернул штурвал. Корабли вошли, туман сомкнулся за ними — тихо, полностью, как крышка, как замок, как конец.

На южной башне фонарь мигнул, погас; стекло лопнуло, масло вытекло тёмной струйкой по камню вниз, в туман, в ничто.

Где-то в крепости, в подвале архива, в ящике стола под стопкой бумаг лежал список — девять имён, подписанный и исполненный четырнадцать месяцев назад. Бумага пожелтела, чернила выцвели, одно имя зачёркнуто не рукой — водой: капля попала, размыва буквы в синее пятно, в ничто, в память. Список лежал, ждал не конца, не начала — ждал следующей подписи.

Ящик закрылся. Темнота, тишина, запах старой бумаги и сургуча.

Где-то на стене форта часовой перестал кашлять, перестал дышать, перестал быть. Сидел, обхватив колени, с открытыми глазами, в которых отражался туман — густой, чёрный, живой. Вода капала с его подбородка на гранит — капля за каплей, на камень, который помнил, который всегда помнит.

Кап. Кап. Кап.

Глава 2. Пушки молчат

На стенах форта двести человек ждали приказа. Мушкеты заряжены, фитили горят, порох в казённых магазинах — всё по уставу, всё правильно.

Офицер гарнизона, капитан второго ранга Зузин, стоял у парапета с обнажённой саблей, бледный, губы сжаты, глаза бегали по туману, цепляясь за силуэты, что появлялись и исчезали, как тени на дне колодца. Сапоги его были новыми, со скрипом, но сейчас они мокли от росы, которая неожиданно покрыла камни, хотя ночь была сухой. Он то и дело поправлял аксельбанты, как будто это могло вернуть ему контроль.

«Огонь!» — крикнул Зузин, голос сорвался на кашле, вода в горле — он сглотнул и повторил: «Огонь! По кораблям! Залп!»

Артиллеристы бросились к пушкам — двенадцать орудий на южной стене, чугунные стволы, покрытые казённой синей краской, которая облупилась на дулах. Лафеты скрипели, колёса увязали в мягком мху, который рос между плит. Двенадцать фитилей горят, двенадцать рук ждут команды.

Первый номер расчёта, старый унтер Егорыч, поднёс фитиль к запальному отверстию, дунул, искра зашипела — красный кончик пошёл к пороху, к залпу.

На его руке снова дрогнула красная тряпка на эфесе тесака — он заметил это краем глаза, но не стал поправлять.

Фитиль дошёл — и тишина. Ни выстрела, ни шипения, ни треска, только абсолютная тишина, как дно, как то, что бывает после последнего звука.

Егорыч замер, посмотрел на пушку, на фитиль — фитиль горел, живой, но ствол молчал. Он сунул палец в ствол по локоть — коснулся не дна, не пороха, не ядра, а воды, холодной, солёной, живой, воды внутри пушки, в герметичном стволе, в запечатанном казённике, куда вода не могла попасть, не должна была, не имела права. Егорыч вынул палец — вода капнула на лафет, на камень, на сапог, и капля была тёплой, как кровь, как слеза, как то, что живёт.

«Вода, — сказал Егорыч тихо, не крикнул, не позвал, а сказал себе, пушке, ночи. — Вода в стволе».

Рядом — вторая, третья, четвёртая; фитили горят, стволы молчат; артиллеристы суют пальцы, вынимают, капает — везде вода. В каждом стволе, в каждом заряде, в каждой щели, куда вода не должна была войти, но вошла — тихо, терпеливо, тридцать лет терпеливо. На восточной стене — то же, на северной, на западном редуте — все пушки молчат, все мокрые, все помнят.

Зузин закричал: «Штыки! На штык встречать! Мушкеты!»

Мушкеты щёлкнули, курки взведены, порох на полках, двести человек, двести стволов, двести надежд.

Первый залп — двести выстрелов, двести вспышек, двести звуков — не прозвучало ни одного. Курки ударили, кремни высекли искру, искры упали на порох — порох шикнул, задымил, не вспыхнул, не взорвался, только шикнул, как мокрая тряпка на углях, как вздох, как извинение.

Двести мушкетов — ни одного выстрела: вода в стволах, на полках, в затворах, в воздухе. Вода везде, вода, которой не должно быть, вода, которая пришла сама, которая всегда была здесь — тридцать лет под камнем, под сваями, под молчанием.

Солдаты закашляли — один, два, десять, пятьдесят; кашель пошёл по стене волной. Не болезнь, не дым — вода в лёгких. Воздух сухой, ночь ясная, ни дождя, ни влаги, а в груди — вода, вода, которая помнит, которая входит, которая берёт.

Зузин выронил саблю, она звякнула о камень долгим металлическим звоном — лишним. Он схватился за горло, захрипел, закашлялся, изо рта вышла вода, солёная, тёплая, живая, потекла по подбородку, по мундиру, по сапогам на камень, в щели, в память.

Солдаты падали не от пуль, не от сабель — от воды, которая входила, наполняла, забирала, медленно, не жестоко, не злобно, а терпеливо, как вода, тридцать лет ждавшая, помнившая, наконец выдохнувшая.

На стенах форта двести человек кашляли, давились, тонули на суше, в сухую ночь, в ясном воздухе, потому что вода помнила, потому что она была здесь всегда, под камнем, под сваями, под тридцатью годами молчания.

Пушки молчали, мушкеты молчали, фитили горели, порох шипел, вода капала.

Егорыч сидел у пушки, спиной к лафету, голова опущена, кашлял тихо, ровно, монотонно, как вода, что сочится, как то, что не кончается. Капало с подбородка на сапог, на камень, на гранит, который помнил, который всегда помнит. Он поднял голову, посмотрел в туман, в гавань, на корабли, стоявшие молча, неподвижно, как судьи, как приговор, как то, что уже решено.

«Господи, — прошептал Егорыч не молитвой, не просьбой, а признанием. — Это не враг. Это — вода. Это — мы. Это — то, что мы сделали».

Туман сомкнулся, поглотил стены, пушки, двести человек, кашлявших и тонувших, и помнивших. На южной башне последний фонарь мигнул, погас, стекло лопнуло, масло вытекло — тёмная струйка побежала по камню вниз, в туман, в память. В крепости стало тихо — не мёртво, не пусто, а тихо, как дно, как ил, как то, что ждёт.

Из тумана, из гавани, из воды, которая помнила, шёл звук — не шаги, не крики, не выстрелы, а капание, мерное, ровное, бесконечное. Вода капала с бортов, с парусов, с синих рук, с ржавого тесака.

Кап. Кап. Кап.

Корабли стояли в гавани молча, неподвижно, как семь пальцев руки, которая сжимается, как семь зубов челюсти, которая сомкнётся. Вран на мостике открыл глаза, посмотрел на крепость, на стены, на башни, на двести человек, тонувших на суше. Рука опустилась медленно, ладонь вниз, пальцы сжались в кулак — в решение.

Холт повернул штурвал — флагман двинулся вперёд, к пристани, к Петровской пристани, к той самой балке, к тому месту, где четырнадцать месяцев назад висела верёвка, висело тело, висел он. Вода капала с тесака — ржавого, тяжёлого, живого — на палубу, на дерево, которое помнило, которое всегда помнит.

Кап. Кап. Кап.

Глава 3. Капитан без пульса

Лекарь Пётр Соломин стоял у трапа с холщовой сумкой в руках, не предлагая её никому — просто держал, как держат свечу на отпевании. На ремне сумки висела засушенная ветка полыни — его талисман, который он носил с собой уже много лет. Он то и дело поправлял сумку левой рукой, хотя та и так висела ровно.

Вран подошёл к борту, положил ладонь на мокрый планшир. Дерево было тёплым — весь корабль в последнее время казался тёплым, как тело, переставшее бороться с лихорадкой. Соломин шагнул ближе, коснулся пальцами запястья Врана, прижал, подержал, нахмурился, передвинул пальцы выше, снова, дальше.

— Капитан, — сказал Соломин тихо, — я не нахожу пульса.

— Знаю.

— Мне ждать вас на этой стороне?

Вран посмотрел на лекаря, на сумку, на иглу, торчащую из шва:

— На этой.

Соломин кивнул и отошёл — не поклонился, не отвернулся, просто отошёл, как отходят от гроба, чтобы не загораживать свет остальным.

Холт стоял у штурвала, не подходил, говорил оттуда, не повышая голоса, но слова долетали, как всегда долетали на этом корабле, — сквозь воду, сквозь дерево, сквозь кости:

— Вода сегодня тёплая, капитан.

— Ждала.

— Мне ждать здесь?

— Жди.

Холт повернул штурвал на четверть — флагман приблизился к пристани на две сажени. Вран спустился по трапу. Вода приняла его на третьей ступени — не холодно, не жадно, тепло, как принимает мать ребёнка, вернувшегося домой поздно. Она сомкнулась над головой, и звуки горящего города сразу стали глухими, густыми, далёкими, будто мир завернули в мокрую парусину.

Он не плыл, не всплывал — он опускался. Дно гавани было близко; ил поднимался под сапогами, густой, чёрный, пахнувший ржавчиной, пенькой и тридцатью годами стоячей воды. Ил был не просто чёрным — он был жирным, как старая смазка, и от него поднимались пузыри, которые лопались с едва слышным чавканьем. Вран шагнул — ил поддался мягко, как дорога, которую долго ходили.

Вокруг лежала память гавани: ржавый якорь величиной с телегу, вросший в ил наполовину; цепь с разорванными звеньями — он прошёл мимо, не тронув, цепей здесь не держали, их здесь помнили; обломки рёбер бота, пушечный ствол с дулом, забитым тиной; кости — много костей, рыбьих и человеческих, перемешанных, неразличимых, потому что на дне всё становится просто костями.

Среди костей попадались и другие вещи: пистолет с инкрустированной рукояткой, но ствол забит тиной; сабля, сломанная у самой гарды; кинжал с почерневшим лезвием, на котором ещё можно было разобрать буквы — выгравированное имя «Ф.».

Вран не поднимал ничего — он знал, что каждая вещь на дне — чья-то последняя надежда, и трогать их значило бы взять на себя новую тяжесть. Над головой вода была красной от пожаров, внизу — тёмной.

В этой темноте Вран видел лучше, чем при солнце: глаза, простоявшие в воде четырнадцать месяцев, научились смотреть на то, чему свет только мешает.

Он шёл — шаг, шаг, шаг; ил вставал и оседал за спиной, след затягивался сразу, будто гавань не хотела оставлять о нём памяти, или прятала его. Где-то наверху глухо, как сквозь подушку, гремело — горела крепость; здесь было тихо, только пузырьки собственного дыхания — он не дышал, но вода всё равно выходила изо рта мелкими серебряными бусинами, по привычке, как старый солдат просыпается на заре без горна.

Пульса не было — он чувствовал это снова, каждый раз под водой: два пальца к шее, под левое ухо, туда, где был узел. Тишина, но не тишина отсутствия, а тишина комнаты, в которой только что перестали говорить. Большим пальцем он машинально провёл по борозде на шее — привычка, появившаяся за месяцы блужданий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.